



**В. Н. ОРЛОВ**

**Перепутья.**

**Из истории русской поэзии начала XX века**

<Фрагмент>

Мой дом открыт навстречу всех дорог...

Характерная для этого времени и для этого круга фигура — Максимилиан Волошин (1877–1932). Он начал писать гораздо раньше, с 1903 года печатался в символистских изданиях, но первая книга его стихов («Годы странствий») появилась только в 1910 году.

Его называли главной достопримечательностью, хозяином и душой Коктебеля — пустынного (в ту пору) уголка на побережье Восточного Крыма, где он жил в молодости и оседло поселился в зрелые годы. И в самом деле, этот тучный, бородатый человек вполне русской наружности, но одетый своеобразно — в некое подобие греческого хитона и в сандалии, поэт и художник — мастер акварельного пейзажа, критик и историк (а подчас и археолог, и ботаник, и геолог), неистощимый рассказчик, человек энциклопедических знаний, жадно любопытный к событиям и к людям, страстный путешественник, объездивший и обошедший пол-Европы, стал неотделим от пустынно-сурового, но по-своему прекрасного коктебельского пейзажа — от буро-желтых, поросших полынью холмов, беспокойного моря, фантастических нагромождений Карадага, огненных закатов, — от всей этой древней земли, хранящей память о многих прошедших здесь народах, угасших культурах, отошедших в прошлое жизненных укладах, драматических событиях. Много о чем писал Волошин — о Париже, о странах Средиземного моря, о допетровской Руси, но «безрадостный Коктебель», баснословная Киммерия древних, — это было художественным открытием Волошина, его неотъемлемой собственностью как поэта и пейзажиста.

...вся душа моя в твоих заливах  
О, Киммерии темная страна,  
Заклучена и преображена.  
С тех пор, как отроком у молчаливых  
Торжественно-пустынных берегов  
Очнулся я, — душа моя разъясась,

И мысль росла, лепилась и ваялась  
 По складкам гор, по выгибам холмов.  
 Огнь древних недр и дождевая влага  
 Двойным резцом ваяла облик твой —  
 И сих холмов однообразный строй,  
 И напряженный пафос Карадага.  
 Сосредоточенность и теснота  
 Зубчатых скал, а рядом широта  
 Степных равнин и мреющие дали —  
 Стиху разбег, а мысли меру дали...

Волошин — поэт головной, книжный, смотревший на мир пресыщенными глазами эстета, то есть всем увлекавшийся, но ничего по-настоящему не полюбивший — «близкий всем, всему чужой», как сказал он сам о себе. Всеядность и эклектизм — эти родимые пятна эстетства — проступают в поэзии Волошина с отчетливостью, можно сказать, показательной. Его поэтический «дом» в самом деле стоял на перепутье всех дорог, обращен был окнами «в просторы всех времен и стран, легенд, историй и поверий...».

В стихах Волошина проходят перед нами тщательно выписанные, всегда ярко красочные, но всегда и холодноватые картины, воскрешающие образы истории и искусства действительно самых разных времен и стран. Остается неясным, что по-настоящему близко и дорого поэту — античность или современная Европа, быт парижской богемы или Московская Русь. Один ядовитый критик как-то обозвал Волошина коммивояжером новейшей русской поэзии. Сказано, конечно, неуважительно, но есть в таком определении свой резон: слишком уж пестр багаж этого поэта.

И почти на всем, что старался Волошин воскресить, лежит печать вторичности. Все крайне изысканно, хорошо отделано, даже красиво (не прекрасно), но уже более или менее знакомо, ибо где-то читано и видано. Разве лишь в пейзажных стихах о Восточном Крыме, овеванных киммерийским преданием, поэт нашел свою, незаемную тему. Эти стихи принадлежат к лучшему из того, что он написал до революции.

О, мать-невольница! На грудь твоей пустыни  
 Склоняюсь я в полночной тишине...  
 И горький дым костра, и горький дух полыни,  
 И горечь волн — останутся во мне...

Я вижу грустные торжественные сны —  
 Заливы гулкие земли глухой и древней.  
 Где в поздних сумерках грустнее и напевней  
 Звучат пустынные гекзаметры волны...

Усердный ученик французских парнасцев и старших русских символистов, Волошин свободно владел стихотворной техникой, любил щегольнуть строгой, отточенной формой, подчас ставил перед собою трудные формальные задачи. Во всем, что им написано, видна умелая и уверенная рука. Но ему не хватало главного — непосредственного поэтического чувства, которое единственно сообщает стихам правду и искренность<sup>1</sup>.

Неподлинность лиризма ощущается у Волошина и в любовной лирике, и в откликах на современные события, которые, бесспорно, его волновали. Революция 1905 года затронула Волошина, но до чего же холодно-риторичен, при всей апокалипсической энергии выражений, «Ангел мщенья», которым он сочувственно откликнулся на революцию!

Народу русскому: Я скорбный Ангел мщенья!  
Я в раны черные — в распаханную новь  
Кидаю семена. Прошли века терпенья,  
И голос мой — набат. Хоругвь моя — как кровь.

На буйных очагах народного витийства,  
Как призраки, взращу багряные цветы.  
Я в сердце девушки вложу восторг убийства  
И в душу детскую — кровавые мечты...

Столь же мало согреты душевным огнем и антивоенные стихи Волошина (сборник «Anno mundi ardentis», 1915), несмотря на мистический ужас, охвативший его при зрелище мировой бойни. В ту пору Волошин сблизился с антропософами и, подобно Андрею Белому, трудился над возведением антропософского храма в Швейцарии. Его пацифистские и более того — «пораженческие» настроения выражались в аспекте «духовного знания», далекого от земных тревог.

Взвивается стяг победный...  
Что в том, Россия, тебе?  
Пребудь смиренной и бедной —  
Верной своей судьбе.

Люблю тебя побежденной,  
Поруганной и в пыли,  
Таинственно осветленной  
Всею красотой земли...

Сильна ты нездешней мерой,  
Нездешней страстью чиста,  
Неутоленной верой  
Твои запеклись уста...

Гораздо больший пафос обрел Волошин в стихах, написанных во время и после Октябрьской революции, которая даже этого убежденного эстета вывела из привычного равновесия, но которую он совершенно не понял. И хотя впоследствии он утверждал: «То, что мне пришлось в зрелые годы пережить русскую революцию, считаю для себя величайшим счастьем», в ноябрьские дни 1917 года в своем неприятии происшедших перемен он не скупился на выражения:

О господи, разверзни, расточи,  
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,  
Германцев с Запада, монгол с Востока.  
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,  
Чтоб искупить смиренно и глубоко  
Иудин грех до Страшного суда!

Обратившись к животрепещущим политическим темам, Волошин и на сей раз не изменил себе: он разрабатывал эти темы не непосредственно, а через исторические аналогии и аллюзии, почерпнутые главным образом из эпохи Смутного времени или стихийно-народных движений Разина и Пугачева. Размышляя об исторических судьбах России, пытаюсь найти в ее прошлом корни и ростки настоящего, Волошин оказался далек от понимания социальной и нравственной правоты народа, вышедшего на сознательную борьбу за свою свободу, за свое будущее. С полной отчетливостью сказалось это в стихотворном сборнике «Демоны глухонемые», появившемся в самый разгар гражданской войны, в 1919 году.

Искусственно сближая «быль царей» с «явью большевиков», Волошин стремился поэтически осмыслить Октябрьскую революцию как очередной взрыв темной бунтарской стихии, уже не раз сотрясавшей русское государство. Стенька Разин возглашает в стихах Волошина:

Что-то чую — приходит пора моя  
Погулять по святой по Руси...  
И за мною не токмо что драная  
Гольтьба, а — казной расшибусь —  
Вся великая, темная, пьяная  
Окаянная двинется Русь.  
Мы устроим в стране благолепье вам,  
Как, восставши из мертвых с мечом,  
Три угодника — с Гришкой Отрепьевым  
Да с Емелькой придем Пугачом.

Отсюда в стихах Волошина, с одной стороны, поэтизация этой «гулящей» и «во Христе юродивой» Руси, всяческой смуты, разгула и разбоя;

с другой — в корне реакционная, идущая от старых славянофильско-националистических концепций идея непротивления злу и рабского смирения, якобы искони присущих русскому народу. Для Волошина это была не новая тема: как мы видели, еще в годы мировой войны он признавался, что любит Россию «смиреной и бедной», «в лике рабьем». Поэтому, мол, и Октябрьская революция пройдет в свой срок, как прошли прочие «смуты» и «усобицы», и Россия снова вернется к своим исконным и неизменным началам.

Они пройдут — расплавленные годы  
Народных бурь и мятежей...

Пусть нынешняя Россия сама себя сожгла в пожаре революции, пусть никакой новой России Волошин не видит, зато где-то в далеком будущем маячит перед ним призрак какой-то утопической Славии, призванной «восстановиться» из пепла сожженной России как некое «царство духа», «правда» которого будет все в том же христианском смирении и «непротивлении раба».

Волошин утверждал, что стихи его «далеки от современных политических и партийных идеологий»<sup>2</sup>. Но, как видно из приведенных примеров (а их можно было бы многократно умножить), политические стихи вчерашнего эстета в иных случаях приобретали объективно антиреволюционный смысл<sup>3</sup>. Об этом нужно сказать прямо, поскольку порой предпринимаются попытки затушевать эту сторону творчества Волошина.

И все же стихами такого плана не определяется целиком общественно-литературная позиция поэта в послеоктябрьское время. Исходя из абстрактно-гуманистических иллюзий, он пытался удержаться «над схваткой», равно осуждая и «красных» и «белых» за творимое ими кровопролитие и взывая к милосердию тех и других<sup>4</sup>. Позиция, конечно, совершенно беспочвенная.

В положении поэта-человеколюбца, поставленного якобы волею судьбы меж двух враждебных станов, утопически размышляя о примирении «фанатиков непримиримых вер», Волошин видел в этом свое призвание:

А я стою один меж них  
В ревущем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других...

В начале двадцатых годов Волошин работал над большим циклом историко-философских поэм «Путями Каина» (цикл носит подзаголовок: «Трагедия материальной культуры»). Уже само заглавие передает

мысль поэта: человечество идет «путями Каина», затевая войны и революции. Культура, наука, искусство, цивилизация, техника — все эти блага покупаются человечеством дорогой ценой — ценой утраты «духовной свободы».

В отстаивании своей шаткой, глубоко ошибочной позиции Волошин проявил завидное упорство. В октябре 1925 года он следующим образом поэтически сформулировал свое кредо:

Творческий ритм — от весла, гребущего против.  
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.  
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.  
Зритель захвачен игрой, — ты не актер и не зритель.  
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.  
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:  
Помнить, что знамена, партии и программы —  
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.  
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:  
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту!

С такой позицией, с такой философией и историософией Волошину, конечно, не было и не могло быть места в советской литературе. Он продолжал писать стихи, в частности — на церковно-исторические темы, по-прежнему полные аллюзий на современность («Владимирская Богоматерь», «Сказание об иноке Епифании», «Святой Серафим»), изредка еще печатался в советских изданиях (отрывки из «Путей Каина» и поэмы «Россия»), но никакого участия в живом литературном процессе не принимал и незаметно сошел со сцены.

Разлад Волошина с советской действительностью был глубок, и он сам отдавал себе в этом ясный отчет. В одном из последних своих стихотворений — «Дом поэта» — он прямо, без обиняков, аналогий и намеков, сказал о своем добровольном самоотчуждении от новой жизни России.

<1976>

